

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. Пьесы



Антон Павлович Чехов

Встреча
(Рассказы)

Антон Павлович Чехов

Встреча

А зачем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных?

Максимов

Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога отлого спускалась вниз по бугру и потом убежала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдали с синевой неба, и виден был только ленивый полет птиц да дрожание воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасами, уходя вдали всё выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца.

Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ Казанской божией матери, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть доб-

рый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к задку телеги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах «по произволу Господа пламенем пожара истребило храм» и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать «доброхотных желателей» за сбором подаяния на построение храма. Сбоку телеги на перекладке висел двадцатифунтовый колокол.

Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня.

В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров да глухие шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся

на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати.

Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадей. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее змеей через дорогу, жалобно позвякивал, как будто и ему хотелось на покой.

– Здорово, папаша! – услышал вдруг Ефрем резкий крикливый голос. – Путь-дорога!

У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет 30-ти, в ситцевой рубахе и в узких, не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемуся после кокарды, и можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик непокойно: всё время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами, точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движения, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не ви-

дал таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц; нос и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и, в довершение странности лица, вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом.

– Православный, – обратился к нему Ефрем, – далече ли тут до деревни?

– Нет, не далече. До села Малого верст пять осталось.

– Беда как пить хочется!

– Как не хотеть! – сказал странный мужик и усмехнулся. – Жарит не приведи бог как! Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше... Тебя как звать?

– Ефрем, парень...

– Ну, а меня – Кузьма... Чай, слышал, как свахи говорят: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу.

– А далече едешь? – спросил он.

– Далече, православный! Был и в Курском, и в самой Москве был, а теперь поспешаю в Нижний на ярманку.

– На храм собираешь?

– На храм, парень... Царице небесной Казанской... Погорел храм-то!

– Отчего погорел?

Лениво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день молния ударила в церковь. Мужики и причт, как нарочно, были в поле.

– Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить, да, зная, прогневался Илья-пророк, церковь была заперши, и колокольню всю как есть полымем обхватило, так что и не достанешь того набата... Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и пышет – подступиться страшно!

Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...

– Ну, а ты как? На жалованье, что ли? – спросил он.

– Какое наше жалованье! За спасенье ду-

ши ездим, мир послал...

– Так задаром и едешь?

– А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности справит... Стало быть, не задаром!

– А живешь чем?

– Христа ради.

– Меринок-то у тебя мирской?

– Мирской...

– Та-ак, братец ты мой... Покурить у тебя нету?

– Не курю, парень.

– А ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?

– Зачем ейдохнуть? Не надодохнуть...

– Ну, а ежели... разбойники на тебя нападут?

И болтливый Кузьма спросил еще: куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника.

– Какая она у тебя пузатая! – болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. – Ого, тяжелая! Небось, и серебра пропасть, а? А что, ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу?

– Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько – мне не видать.

– А бумажки кладут?

– Которые поблагородней, господа или купцы, те и бумажки подают.

– Что ж? И бумажки в кружке держишь?

– Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется... На грудях держу...

– А много насбирал бумажками?

– Да рублей с двадцать шесть насбирал.

– 26 целковых! – сказал Кузьма и пожал плечами. – У нас в Качаброве, спроси кого хочешь, строили церкву, так за одни планты было дадено три тыщи – во! Твоих денег и на гвозди не хватит! По нынешнему времени 26 целковых – раз плюнуть!.. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь... Сейчас вот, гляди, я курю табак... Мне он годится, потому я мужик, простой человек, а ежели какому офицеру или

студенту...

Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь:

– С нами в арестантской сидел немец с железной дороги, так тот, братец ты мой, курил цыгары по десяти копеек штука! А-а? По десяти копеек! Ведь этак, дед, гляди, на сто целковых в месяц выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали.

– А нешто ты был в арестантской? – спросил Ефрем.

– Был, – ответил Кузьма и поглядел на небо. – Второй день, как выпустили. Целый месяц сидел.

Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до Малого осталась одна верста; еще немного – и телега выехала из леса, открылась большая поляна, и перед путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров,

овец и спутанных лошадей. За стадом зелене-ли луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там дальше видно было Малое с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным.

– Вот и Малое! – сказал Кузьма. – Мужики хорошо живут, но разбойники.

Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодца, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы: куда едешь? откуда?

– Ну, родня, давай божьему человеку пить! – заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. – Поворачивайся!

– Какая я тебе родня? По какому случаю?

– Хо-хо-хо! Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села за чуб вела!

Всё время, пока телега ехала по селу, Кузьма неумоимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он милыми, душечка-

ми, мамашами, а мужиков, соображаясь с особыми приметами, рыжими, гнедыми, носастыми, кривыми и т. п. Всё это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы; «А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вешаный! Давно ли из острога вернулся?»

– Эй, вы, подавайте божьему человеку! – болтал Кузьма, размахивая руками. – Поворачивайся! Живо!

И он важно держался и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство или же был его проводником.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем не спеша отпряг коня и сводил его на водопой к колодцу, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма.

– А, пришел! – обрадовался странный мужик. – Пойдешь в трактир чай пить?

– Чайку попить... оно бы ничего, – сказал Ефрем, почесываясь, – оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нешто?

– Угостишь... А на какие деньги?

Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образами, разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку, опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду.

– Бедность наша! – вздохнул Кузьма. – Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходявших на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели; церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в землю... Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоник, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого

нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает деревенский вечер на чужой стороне.

Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя:

– Несообразный ты... Какой-то ты такой, бог тебя знает...

– А что?

– А то... На настоящего человека не похож... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вот из арестантской идешь...

– Легко ли дело! В арестантской, бывает, и хорошие господа сидят... Арестантская, брат, это ничего, пустяковое дело, хоть целый год сидеть могу, а вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в остроге сидел, и нет той недели, чтоб меня в волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество в Сибирь сослать. Уж и приговор такой составили.

– Стало быть, хорош!

– А мне что? И в Сибири люди живут.

– Отец и мать-то у тебя есть?

– Ну их! Живы еще, не поколели...

– А чти отца твоего и мать твою?

– Пуцай... Я так понимаю, что они первые мне злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше некому.

– Много ты знаешь, дурак... Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А за что это тебя здешние мужики вешаным зовут?

– А когда я мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили...

– Вредный член общества!.. – проговорил Ефрем и вздохнул.

Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел.

Когда он проснулся среди ночи, чтоб поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой настежь двери стояла белая корова, заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали... В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за теньями в

ночной тишине, кричал дергач да протяжно всхлипывала сова.

А когда он проснулся в другой раз на рассвете, Кузьма сидел на скамье за столом и о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная, блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его; он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору.

– А, божий человек! – сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и ухмыльнулся. – Хочешь белой булки?

– Ты где был? – спросил Ефрем.

– Гы-ы! – засмеялся Кузьма. – Гы-ы!

Раз десять со своею странною, неподвижной улыбкой произнес он это «гы-ы!» и, наконец, затрясся от судорожного смеха.

– Чай... чай пил, – выговорил он сквозь смех. – Во... водку пил!

И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурциками пил чай и водку; и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки...

– Чведские спички! – во! Пшш! – говорил

он, сжигая подряд несколько спичек и заку-
ривая папиросу. – Чведские, настоящие! По-
гляди!

Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точ-
но его что-то больно укусило, он вскочил,
быстро поднял вверх рубаху и стал ощупы-
вать голую грудь; потом, топчась около ска-
мьи, как медведь, он перебрал и переглядел
всё свое тряпье, заглянул под скамью, опять
ощупал грудь.

– Деньги пропали! – сказал он.

Полминуты Ефрем стоял не шевелясь и ту-
по глядел на скамью, потом опять принялся
искать.

– Мать пречистая, деньги пропали! Слы-
шишь? – обратился он к Кузьме. – Деньги про-
пали!

Кузьма внимательно рассматривал рису-
нок на коробке со спичками и молчал.

– Где деньги? – спросил Ефрем, делая шаг к
нему.

– Какие деньги? – небрежно, сквозь зубы
процедил Кузьма, не отрывая глаз от короб-
ки.

– А те деньги... эти самые, что у меня на

грудях были!..

– Чего пристал? Потерял, так ищи!

– Да где ищи? Где они?

Кузьма поглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел.

– Какие деньги? – закричал он, вскакивая.

– Деньги! 26 рублей!

– Я их взял, что ли? Пристаёт, сволочь!

– Да что сволочь! Ты скажи, где деньги?

– А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори: брал? Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

– Ежели ты не брал, зачем же ты харю воротишь? Стало быть, ты взял! Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал? Глупый ты человек, несообразный! Нешто ты меня обидел? Ты бога обидел!

– Я... я брал? Когда я брал? – закричал высоким, визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. – Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек!

Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обуваться.

– Ишь, жулик! – продолжал кричать Кузьма, всё более возбуждаясь. – Сам пропил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор ты у меня насидишься в остроге!

– Ты не брал, ну и молчи, – покойно ответил Ефрем.

– На, обыскивай!

– Ежели ты не брал, зачем же мне... тебя обыскивать? Не брал, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь бога-то...

Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма, всё еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу.

– Старый чёрт, – ворчал он. – Много вас тут ездит, людей морочит. Не на такого наскочил, брат! Меня не обжулишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старостой!

– Зачем это?

– Протокол составить! Пущай нас в волостном рассудят!

– Нас нечего судить! Не мои деньги, божьи... Ужо бог рассудит.

Ефрем помолился и, взяв кружку и образ, вышел из избы.

Час спустя телега уже въезжала в лес. Малое с приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу.

Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем.

– Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, – проговорил он как бы про себя. – Я бы тебе показал, как на людей путать, чёрт лысый...

Прошло в молчании еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом.

– Вот в Телибеево приедем, – начал Кузьма, – там наш мировой живет. Подавай прошение!

– Зря болтаешь. Какая надобность мирово-

му? нешто его деньги? Деньги божьи. Перед богом ты ответчик.

– Зарядил: божьи! божьи! словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то пущай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор.

– Есть мне время по судам ходить!

– Стало быть, тебе денег не жалко?

– Что мне жалеть? Деньги не мои, божьи...

Ефрем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собою борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного. Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил: «доказательств нет», Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает.

– Я не брал у тебя денег! – сказал он.

– Не брал, ну и ладно.

– Доедем до Телибеева, я кликну старосту. Пущай... он разберет...

– Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой! Опостылел!

Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает, какой страшный замысел таится в его душе, и наконец решился заговорить по-иному.

– Эх ты, пава, и посмеяться с тобой нельзя, сейчас и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я в шутку.

Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не обрадовался, а как будто ждал этого, взял деньги и, ни слова не говоря, сунул их в карман.

– Я посмеяться хотел, – продолжал Кузьма, пытливо взглядываясь в его бесстрастное лицо. – Попужать пришла охота. Думал так, попужаю и отдам поутру... Всех денег было 26 целковых, а тут десять, не то девять... Фурцики у меня отняли... Ты не серчай, дед... Не я

пропил, фурщики... Ей-богу!

– Что мне серчать? Деньги божьи... Не меня ты обидел, а царицу небесную...

– Я, может, только целковый и пропил.

– Мне-то что? Хоть всё возьми да пропей...

Целковый ли ты, копейку ли, для бога всё единственно. Один ответ.

– А ты не серчай, дед. Право, не серчай. Чего там!

Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детски-плачущее выражение.

– Прости Христа ради! – сказал он, умоляюще глядя Ефрему в затылок. – Ты, дядя, не обижайся. Я это в шутку.

– Э, пристал! – сказал раздраженно Ефрем, – Говорю тебе: не мои деньги! Проси у бога, чтоб простил, а мое дело сторона!

Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного, гневного бога. Он забежал вперед

Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один.

– Прости Христа ради! – сказал он, начиная дрожать всем телом. – Дед, прости!

– Отстань!

Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал неясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок.

– Дедушка, родненький! Дяденька! Божий человек!

Ефрем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору.

– Постой, парень, слушай! – начал он убеждать Кузьму. – Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку! Э, ревет, словно баба! Слушай, хочешь, чтоб бог простил, – так, как приедешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай... Слышишь?

Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу, наложить на себя епитимию, по-

том собрать и выслать в Малиновцы украденные и пропитые деньги и в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало-помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе: дразнил Ефрема, болтал... Ни на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про острог, одним словом, про всё то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговейно пятился, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал!

В полдень, когда телега остановилась в Те-либееве, Кузьма пошел в кабак. Часа два отдыхал Ефрем, а он всё не выходил из кабака. Слышно было, как он бранился там, хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним

пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Телибеева, в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет за урядником.